

Максим Горький

КРАЖА

Осенью ехал на пароходе из Царицына в Макарьев маленький рыжий солдат Лука Чекин, парень тихий, с круглыми, как у сыча, глазами, в больших — не по лицу — жёстких усах; он весьма гордился ими, хотя росли они некрасиво, топырьась во все стороны.

Три года с лишком Лука тёрся в денщиках у пьяного поручика Слепухина, под началом его многолетней, черноглазой жены, которую поручик звал Галкой; три года молча терпел её раздражённые крики и многие обиды, а сам Слепухин нередко — проигравшись в карты или поссорясь с женой — бил Луку по щекам широкими, всегда потными ладонями.

Но когда Лука стал собираться домой, поручик, придя в кухню, спросил его с угрюмой ласковостью:

— Едешь, Лукан?

— Так точно, ваше благородие!

— Ну, с богом!

Поручик был толстый, сальный, с красным оплывшим лицом в тёмной бороде, с маленькими, скучными глазками; когда он сердился — белки глаз наливались кровью, зрачки зеленели и

округлялись, точно у кота, дряблый нос краснел и трясся. От поручика всегда пахло водкой, ваксой, лошадиным потом и ещё чем-то. Лука называл его за глаза Тухлым, не любил и боялся его; но в этот раз, когда поручик стоял перед ним в затёртой тужурке, с папиросой в зубах и сквозь дым смотрел на него незнакомо пристальным взглядом, солдату вдруг стало жалко себя, и он сказал тихонько, неуверенно:

— Прощайте, ваше благородие! Дай вам господи всего...

— Прощай, брат, — невесело выговорил Слепухин, присаживаясь к столу; вытянув ногу, сунул ладонь в карман брюк и, вытащив измятый кошелёк, стал рыться в нём толстыми пальцами, щурясь от дыма папиросы, говоря сквозь зубы и редкие волосы усов:

— И тебе тоже желаю всего хорошего. Спасибо, братец!.. Ты парень смирный, честный, хотя и не больно умён, правду сказать... На-ко вот тебе на дорогу. Дал бы и больше, да — нет! Тут ещё жена хотела...

Лука протянул ладонь, и, когда кожи его коснулись семь холодных, как вдовьи слёзы, двугривенных, у него защемило в носу, горло сжала судорога, он схватил руку офицера, желая поцеловать её, но тот встал и сказал угрюмо:

— Ну, не надо! Давай — обнимемся...

Обняв солдата, он трижды потёрся толстыми щеками об усы Луки и пошёл прочь, оттолкнув его.

— Привык я к тебе, братец...

— И я, ваше благородие, — сказал Лука, всхлипнув; застыдился слёз и тотчас присел на корточки к своему сундуку.

А поручик, остановясь у двери, спросил озабоченно:

— Что же ты теперь делать будешь?

— Не могу знать, ваше благородие...

— Н-да! Ну, придёшь домой, жену побьёшь первым делом, — будешь жену-то бить?

— Так точно, буду...

— Распутничала?

— Не слышал, ваше благородие...

— Наверно — распутничала. Это уж — бабий закон. Четыре года почти обходиться без мужа — это и по природе трудно. Ну, хорошо — жена... А потом что?

Лука перекинулся с корточек на колени и молча глядел в сундук на гармонию, завёрнутую в полотенце и новые портянки. Он никогда не представлял себе ясно, что будет дома, — прошлая жизнь скрылась в мутном облаке пережитого за эти годы, и он не знал, как ответить барину.

А тот спрашивал всё строже и серьёзней:

— Отец — помер?

— Так точно.

— А брат — лавочник?

— Телятами торгует.

— Телятами?

Поручик подумал, почесал шею под бородой.

— Вот видишь! Трудно тебе будет на брата работать, обидно. Работать всегда лучше на чужого, чем на своего. А главное — ты человек смирный, честный, к торговле, наверно, не способен. И тебе нельзя жить без начальства, без руководителя — ты это понимаешь?

— Так точно, — тихо сказал Лука; его очень трогала эта первая забота о нём со стороны Слепухина.

Тут вышла Галка в измятом утреннем капоте с оборванными кружевами и большим узлом в руках, она бросила узел на пол и резким голосом сказала в нос, как всегда:

— Это отдай жене, Лука, годится ей. И вот тебе рубль. И спасибо! Не поминай лихом!

Она протянула ему руку, солдат схватил тонкие косточки в смуглой коже и осторожно прижался к ним губами.

— Бог с тобой, — говорила Галка, глядя его по голове, — это прикосновение было легко, щёкотно и приятно сотрясло сердце Луки.

Она смотрела на него сверху вниз, ласково улыбаясь чёрными, как угли, цыганскими глазами, её остроносое, истощённое лицо было так хорошо

знакомо; Лука вспомнил, что во многом виноват пред нею, и сердечно проговорил:

— Простите меня, барыня...

— Ну, что ты! — выдернув руку, воскликнула она. — Меня извини, я часто кричала на тебя...

— Он же понимает, что без этого нельзя! — уверенно сказал поручик, закуривая папиросу, а закурив, продолжал вдумчиво:

— Да, вот говорят то и се... А того не понимают, сколько мы, офицерство, даём России... сколько вот эдаких парней возвращаются к земле... так сказать — новыми людьми, с новой душой...

Помолчав, он с улыбкой предложил Галке:

— А спроси его — будет он жену бить?

Она спросила, тоже с улыбкой:

— Будешь?

— Так точно, — сказал Лука смущённо.

— Ай-яй, — зачем же? — покачивая маленькой головой, воскликнула Галка.

— У них без этого нельзя, — успокоил её муж.

Когда они ушли, Лука долго сидел на полу, пред сундуком, очень удивлённый, с грустной тишиной в душе, сидел и думал:

«Хорошие люди оказались! Вроде малых детей будто. А ведь не заметно было, что хорошие...»

Он оглядывал широкими глазами кухню, третью за время его службы у поручика, смотрел на кастрюли и сковороды, на закопчённое чело печи, в подпечек, где по ночам возились мыши, в окно, под которым разросся куст бузины и куда он выплескивал помои, за что Галка топала на него ногами и кричала.

Всё вокруг было знакомо, привычно, срослось с душой и не отпускало её, тянуло к себе. Как будет он жить в деревне?

Галка тоже казалась близкой; сколько раз он видел её почти нагою, она не стеснялась пред ним, как не стесняются пред кошкой или собакой. Первое время её нагота возбуждала его, а равнодушие, с которым она открывалась пред ним, было немножко обидно солдату, но однажды он, войдя убирать комнату, застал её лежащей на диване в одной рубахе, — вся вздрагивая, она плакала, выла.

— Пошёл вон, подлец! — крикнула она ему. Оторопев, он не мог сдвинуться с места, а Галка, присмотревшись к нему, сказала, тихонько всхлипнув:

— Это я — не тебя... Уйди!

Его очень тронуло то, что вот и в горе, в слезах, она всё-таки сказала ему эти слова, и с того времени он стал относиться к ней как-то особенно, с жалостью, точно она была ребёнком или уродцем.